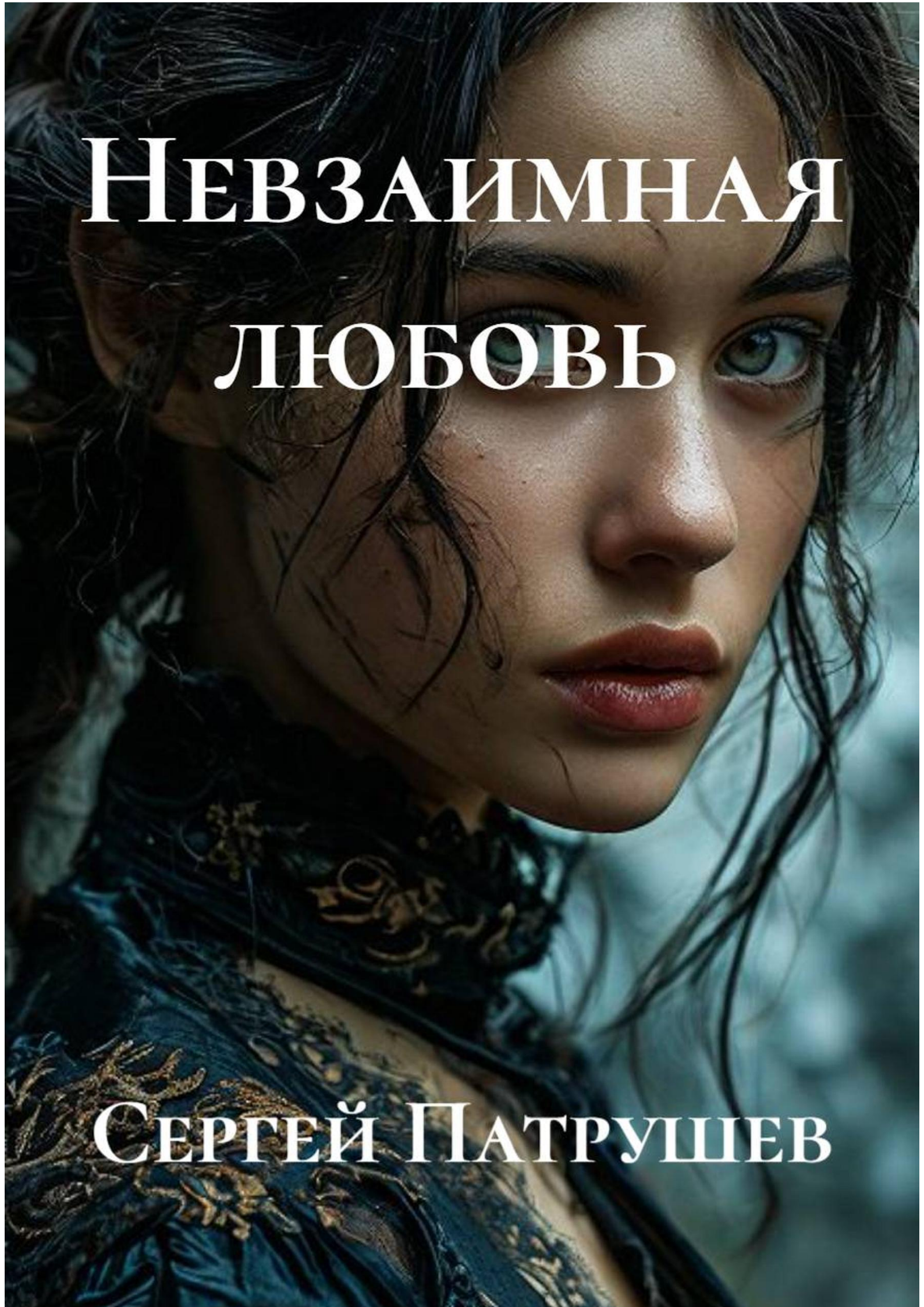




# НЕВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ

СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ

Сергей Патрушев

**Невзаимная любовь**

«Автор»

2026

**Патрушев С.**

Невзаимная любовь / С. Патрушев — «Автор», 2026

Дождь. Три часа ночи. Он стоит под её окном и смотрит, как в темноте гаснет свет. Только что он прочитал её переписку с другим. Она называла его «как ребёнок». Внутри что-то умерло. Навсегда. Так начинается эта история - жестокая, обнажённая, пугающе узнаваемая. Марк пройдёт все круги ада невзаимной любви: от слепого обожания до унижительной близости, от побега на край света до символических похорон собственных иллюзий. И в финале, спустя годы, когда прошлое позвонит ему снова, он зависнет над единственным вопросом: ответить или отпустить? Психологическая драма о том, что невзаимность - это не приговор, а выбор.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1. Точка невозврата         | 5  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 15 |

# Сергей Патрушев

## Невзаимная любовь

### Глава 1. Точка невозврата

Дождь не прекращался уже несколько часов. Он начался еще в полночь, когда Марк выходил из бара, а теперь, глубокой ночью, превратился в сплошную стену воды, низвергающуюся с неба с монотонным, усыпляющим гулом. Это был не просто дождь — это был настоящий потоп, один из тех ливней, что смывают с улиц летнюю пыль, ломают зонты и заставляют прохожих жаться к стенам домов в тщетной надежде остаться сухими. В три часа ночи мир устроен иначе: фонари размывают свет в мутные желтые пятна, похожие на масляные кляксы на черном холсте, асфальт блестит, как застывшая река, отражая редкие огни, а звуки становятся глухими и далекими, будто доносятся сквозь многометровую толщу воды. Город словно погрузился на дно океана, и вместе с ним на это дно опустился Марк.

Он стоял, прислонившись плечом к холодному, шершавому кирпичу стены напротив ее дома, и чувствовал, как вода стекает за шиворот, по спине, по груди, пропитывая одежду до последней нитки. Его темно-серое пальто, купленное два года назад в Милане и стоявшее целое состояние, превратилось в тяжелую, мокрую тряпку, облепившую плечи, как вторая кожа. Рубашка прилипла к телу, галстук, который он так и не снял после работы, болтался жалкой удавкой. Волосы, обычно уложенные с небрежной тщательностью, свисали мокрыми прядями на лоб, и капли дождя, смешанные с чем-то, что вполне могло быть слезами, стекали по лицу, солоноватые на губах. Он не замечал холода. Вернее, замечал его как нечто постороннее, не имеющее к нему прямого отношения. Его тело существовало отдельно, замерзая и дрожа крупной, неконтролируемой дрожью, а сознание было приковано к одному-единственному светящемуся прямоугольнику на четвертом этаже. Как мотылек, летящий на огонь, как навигатор, зафиксировавший единственную точку в пространстве, он не мог отвести взгляд.

Окно Евы.

Там, за стеклом, по которому бежали бесконечные струи дождя, искажая перспективу и превращая комнату в акварельный этюд, горел мягкий, приглушенный свет. Не яркий верхний, безжалостно выбеливающий пространство, а тот, что от торшера или ночника — интимный, теплый, оранжеватый, создающий в комнате островок уюта посреди бушующей стихии. Этот свет гипнотизировал. Он был как маяк, только светил он не к спасению, а к гибели. Марк знал эту комнату до мельчайших подробностей. Он мог бы нарисовать ее план с закрытыми глазами, воссоздать в памяти каждый предмет с точностью архитектора, которым он, собственно, и являлся. Потертый персидский ковер на полу, доставшийся Еве от бабушки — с выцветшим бордовым узором и небольшой дыркой у левого края, которую она всегда прикрывала ножкой журнального столика. Сам столик — стеклянный, вечно заваленный стопками книг по искусству, каталогами выставок и пустыми кофейными чашками. Засохший цветок в керамическом горшке, который она забывала поливать неделями, а потом виновато охля и заливала водой так, что та переливалась через край на подоконник. Он знал, что третья половица от двери предательски скрипит, а замок в ванной комнате заедает, если его не придерживать особым образом. Он знал, как пахнет в этой комнате — сложной, многогранной смесью ее духов, сладковатых и немного терпких, ароматом старых книг и бумажной пыли, и чего-то еще, едва уловимого,

цветочного, что он так и не смог идентифицировать, хотя потратил на это часы, вдыхая воздух в ее отсутствие. Теперь этот запах, этот свет, это тепло — все это принадлежало другому. И от осознания этого факта внутри что-то обрывалось и летело в бездну.

Он достал телефон. Движение было механическим, почти бессознательным, как у курильщика, тянущегося за сигаретой в минуту стресса. Экран, залитый водой, плохо слушался мокрых пальцев, сенсор глючил, то не реагируя на прикосновения, то, наоборот, сам открывая какие-то приложения. Но он упрямо, с маниакальным упорством, разблокировал его и открыл галерею. Фотография переписки. Скриншоты, которые он сделал несколько часов назад, когда случайно — да, именно случайно, он будет настаивать на этом даже перед самим собой, потому что признать обратное означало бы окончательно расписаться в собственной низости — увидел ее открытый мессенджер на ноутбуке. Она забыла заблокировать экран, выйдя из комнаты на кухню за очередной чашкой чая. Он просто хотел проверить время. Просто хотел закрыть ненужное окно, чтобы не отвлекало. Но пальцы, будто обладая собственным разумом, сами нажали на иконку, глаза, подвижные нездоровым, хищным любопытством, сами пробежались по строчкам. И с каждой секундой чтения, с каждым новым словом, внутри что-то умирало, сворачиваясь в тугую, болезненный узел где-то в районе солнечного сплетения.

«Скучаю. Когда увидимся?» — писал кто-то по имени Андрей. Имя было простым, слишком простым, каким-то нарочито обыденным, чтобы причинять такую боль. Но эта обыденность и была самым страшным. За ней не стояло тайны, за ней стояла рутина, повседневность, привычка. То, чего у них с Марком никогда не было.

«Завтра? Марк опять будет ныть, что я уделяю ему мало времени. Но я что-нибудь придумаю. Ты же знаешь, он как ребенок».

Как ребенок. Эти два слова жгли сильнее, чем ледяной дождь. Сильнее, чем пощечина. Сильнее, чем если бы она просто сказала: «Я тебя не люблю». Потому что в них не было ненависти. В них было кое-что похуже — пренебрежение. Снисходительное, материнское пренебрежение к тому, кого не воспринимают всерьез. Она говорила о нем с этим Андреем так, будто он был не мужчиной, которого она когда-то, как ему казалось, любила, а досадной помехой, обязанностью, которую нужно исполнять. Он был не соперником, не врагом, не трагической фигурой — он был пунктом в ее расписании, который нужно как-то уладить. Они обсуждали его, словно надоедливую питомицу, требующую внимания, или старую тетушку, которой нужно позвонить по долгу вежливости. От этой мысли к горлу подкатила тошнота, горькая и обжигающая. Унижение было настолько полным и всеобъемлющим, настолько абсолютным, что граничило с физической болью. Оно проникало в каждую клетку тела, отравляло кровь, сковывало легкие так, что каждый вдох давался с трудом. Ему казалось, что он раздет догола на многолюдной площади, и каждый прохожий тычет в него пальцем, смеясь над его жалкой наготой.

Он снова поднял глаза на окно, и дыхание перехватило. В проеме, подсвеченные тем самым оранжевым светом, мелькнули две тени. Мужская фигура, высокая, широкая в плечах — полная противоположность самому Марку, который всегда был скорее жилистым и поджатым, — приблизилась к женской, и их силуэты на мгновение слились в один. Поцелуй. Или просто объятие. Или она просто положила голову ему на плечо. С такого расстояния, да еще и сквозь пелену дождя, было не разобрать. Но воспаленное воображение Марка, его проклятое, изощренное воображение, которое раньше рисовало ему картины идеального счастья, теперь с не меньшим усердием дорисовывало самые мучительные, самые унижительные детали. Он

представлял, как чужая рука касается ее плеча, как пальцы скользят по изгибу талии, по той самой родинке у левой лопатки, которую он так любил целовать. Он видел, как ее волосы, светлые, мягкие, пахнувшие тем самым неопределимым цветочным ароматом, рассыпаются по чужим пальцам. Он слышал ее смех — не тот вежливый смех, которым она одаривала его в последнее время, а настоящий, грудной, тот, что он слышал лишь несколько раз в самом начале их отношений. И этот смех предназначался не ему. Свет в окне погас.

Наступила темнота. Абсолютная, непроглядная, как будто кто-то выключил не только лампу в ее спальне, но и все фонари в мире. И вместе с этой темнотой пришла тишина. Не снаружи — дождь продолжал барабанить по асфальту и жестяным козырькам, — а внутри. Звонящая, вакуумная тишина, какая бывает в эпицентре взрыва за секунду до того, как ударная волна разнесет все вокруг. Это была точка невозврата. Момент, когда последняя иллюзия, последняя соломинка, за которую он цеплялся, рассыпалась в прах. Надежда, эта хитрая, живучая тварь, которая питается воздухом и фантазиями, наконец испустила дух. И на смену ей пришло безумие — холодное, спокойное, почти медитативное.

Где заканчивается надежда и начинается безумие? Этот вопрос, словно заевшая пластинка, крутился в его голове. Ответ был прямо перед ним, в этом погасшем окне, в этих мокрых кирпичах, в этом бесконечном дожде. Надежда умерла ровно в ту секунду, когда он прочел «он как ребенок». Потому что до этого момента еще можно было что-то придумать, как-то оправдать ее холодность, списать все на усталость, на стресс, на ее сложный характер. Можно было верить, что он сам виноват, что он недостаточно старается, что если он изменится, станет лучше, внимательнее, интереснее, то все наладится. Но эти два слова не оставляли пространства для интерпретаций. Они были вердиктом. Приговором, обжалованию не подлежащим. А безумие началось здесь, сейчас, в три часа ночи под проливным дождем, когда он, вместо того чтобы принять этот приговор с достоинством, сжечь мосты и уйти навсегда, продолжал стоять и смотреть на темное окно, не в силах оторваться от места преступления, жертвой которого он был сам.

Он должен уйти. Это единственно правильное, единственно разумное, единственно возможное решение. Развернуться, поднять воротник пальто, поймать такси или просто пойти пешком по пустым улицам, приехать домой, принять горячий, обжигающий душ, смыть с себя этот дождь, эту грязь, это унижение. Завтра он соберет вещи — те немногие, что остались в ее квартире, — и исчезнет из ее жизни навсегда, сохранив хотя бы видимость гордости, хотя бы жалкие остатки самоуважения. Он повторял это про себя снова и снова, как мантру, как молитву, как заклинание, способное разорвать путы, приковывающие его к этому месту. Но ноги будто приросли к асфальту, стали его продолжением, частью тротуара, частью городского пейзажа. Какая-то сила, темная, древняя, иррациональная, держала его здесь, и он не мог, да и, честно говоря, не хотел ей сопротивляться.

Это было похоже на наваждение. Разум — его острый, аналитический, вышколенный разум архитектора, привыкший просчитывать нагрузки и сопротивления материалов, — молчал, подавленный мощным эмоциональным импульсом. Он просто отключился, как отключают рубильник, оставив Марка один на один с хаосом чувств. И в этом параличе, в этой полной неспособности действовать, было что-то извращенно-сладостное. Он упивался своей болью, смаковал ее, как дорогое вино, растравливал рану, не давая ей закрыться. Потому что пока она болит, пока кровоточит, пока причиняет невыносимые страдания — связь еще не разорвана. Эта боль была единственной нитью, связывающей его с Евой. Оборви он ее — и останется только пустота. Огромная, черная, всепоглощающая пустота. А пустота страшнее боли. Боль

— это хоть что-то. Боль — это доказательство того, что он еще жив. Поэтому он стоял, мокрый, жалкий, смешной в своей трагической позе, и позволял дождю хлестать его по лицу, как будто сама природа решила наказать его за глупость.

Вспышка молнии, разорвавшая небо на две части, на мгновение выхватила из мрака фасад дома. Резкий, мертвенно-белый свет озарил каждую деталь: трещину в штукатурке над аркой, забытый кем-то на подоконнике горшок с геранью, мокрую вывеску аптеки на первом этаже. Марк вздрогнул всем телом, не столько от неожиданности, сколько от того, что эта вспышка, как фотовспышка старого фотоаппарата, вырвала из глубин памяти другой момент. Такой же яркий, такой же судьбоносный, но залитый не холодным электрическим светом, а теплым, золотистым солнцем сентября. Полтора года назад. Выставка современного искусства в центре города, на которую он пошел исключительно ради работы — нужно было написать обзорную статью о новых трендах для архитектурного журнала.

Он помнил то утро в мельчайших деталях, как будто это было вчера. Он проснулся с головной болью после бессонной ночи, проведенной над очередным проектом. В зеркале отразился усталый человек тридцати двух лет с синяками под глазами и потухшим взглядом. Кофе был горьким, новости по радио — тревожными, а перспектива тащиться через весь город в галерею, набитую претенциозными бездарностями, вызвала глухое раздражение. Он ненавидел эти вернисажи. Ненавидел толпу, жующую канapé и обсуждающую «концептуальную глубину» того, у чего этой глубины отродясь не было. Он ненавидел художников, смотрящих на тебя с плохо скрываемым превосходством. Но работа есть работа. Журнал требовал материал, и он, как профессионал, должен был его предоставить.

В галерее было душно, пахло краской, пылью и чьими-то слишком сладкими духами. Марк бродил между инсталляциями, делая пометки в блокноте, и чувствовал, как усталость и раздражение все больше овладевают им. Одна инсталляция, представлявшая собой грудку битого кирпича с торчащими из него арматурными прутьями, вызвала у него почти физическое отвращение — как архитектор, он воспринял это как личное оскорбление. Другая, видеоинсталляция с бесконечно повторяющейся сценой падения, просто навевала тоску. Он уже собирался уходить, ставя в уме галочку «долг выполнен», когда, проходя через анфиладу залов, почти случайно оказался в самом дальнем, куда, видимо, доходили немногие.

Там, стоя перед огромным абстрактным полотном, была она. Девушка в простом темно-синем платье, которое удивительно шло к ее светлым, почти пепельным волосам, собранным в небрежный пучок на затылке. Она не просто смотрела на картину. Она, казалось, вела с ней безмолвный, глубоко личный диалог, чуть склонив голову набок. В этом повороте головы, в линии плеч, в том, как она держала в руке сумочку, было что-то настолько подлинное, настолько лишенное той фальши, что царила в остальных залах, что Марк замер. Он просто стоял и смотрел. Не на картину — на нее. Раздражение, усталость, скепсис — все это схлынуло в один миг, смывое волной чего-то горячего и незнакомого. Воздух в зале вдруг стал невесомым, звуки шагов и голосов исчезли, растворились в ватной тишине, а время, до этого неумолимо бегущее вперед, загустело, как смола, застыло, превратив секунду в вечность.

В этот момент кто-то из посетителей, проходя мимо, неловко задел ее плечом. Она обернулась. Это вышло совершенно случайно, рефлекторно — ища извинений. Но взгляд ее, скользя по обидчику, внезапно встретился со взглядом Марка. Она не извинилась. Просто улыбнулась. Легкой, чуть рассеянной улыбкой, какой улыбаются незнакомцам, с которыми случайно разделили мгновение созерцания прекрасного. Но для Марка этот мир рухнул. В одну

секунду, в одном мимолетном изгибе губ, весь привычный, выверенный, логически построенный мир архитектора рассыпался, как карточный домик. Он смотрел на эту незнакомку и чувствовал, что знает ее. Не умом, а чем-то гораздо более древним и глубинным, тем, что Юнг называл коллективным бессознательным. Ему казалось, что он знал ее всегда. Знал эту улыбку, этот разрез глаз, эту манеру чуть щуриться, глядя на яркий свет. В ее улыбке он увидел ответ на вопрос, который никогда не осмеливался задать, решение задачи, которую не мог сформулировать. Ему показалось — нет, он был абсолютно, железобетонно уверен, — что в ней заключена вся нежность, всё понимание, вся красота мира. Что она видит его насквозь, видит его усталость, его цинизм, его тоску по чему-то настоящему, и принимает его таким, какой он есть. Что она ждала его так же, как он ждал ее всю свою жизнь. Вот так, за долю секунды, родилась одержимость.

Сейчас, стоя под дождем, он горько, почти по-звериному, усмехнулся этому воспоминанию. Какая изощренная, какая дьявольски хитрая подстава от собственного сознания. Он, взрослый человек, архитектор с именем и репутацией, автор нескольких реализованных проектов, человек, привыкший иметь дело с реальностью — с бетоном, сталью, стеклом, сметами и подрядчиками, — он поверил в этот мираж. Купился на дешевый трюк своего же воображения, как впечатлительный подросток. Ведь та улыбка не значила ровным счетом ничего. Просто вежливость. Просто случайность. Просто совпадение. Если бы она не обернулась в тот момент, если бы кто-то другой попался ей на глаза — она улыбнулась бы точно так же. Это был не знак судьбы, не удар молнии, не встреча двух половинок. Это был простой социальный рефлекс, не несущий в себе ровным счетом никакой смысловой нагрузки. Но его мозг, его проклятый, жаждущий любви мозг, в тот же миг проделал чудовищную работу. За долю секунды он выстроил целый готический замок из иллюзий, с башнями, витражами и фресками. Он не просто увидел девушку — он моментально вообразил их совместную жизнь, их долгие беседы на рассвете, их общие мечты, их будущий дом, полный света и смеха. Он влюбился не в живого человека, который стоял перед ним, со своими тараканами, капризами, дурными привычками и священным, неотъемлемым правом на нелюбовь. Он влюбился в образ. В идею. В проекцию собственной неутоленной, изголодавшейся по красоте души. Ева стала экраном, на который он, как безумный киномеханик, транслировал фильм своего воображаемого счастья, даже не поинтересовавшись, нужен ли ей билет.

Почему мы влюбляемся не в человека, а в образ? Этот вопрос, мучительный и неразрешимый, теперь занял центральное место в его сознании, вытеснив все остальные мысли. Ответ был горьким и простым, как все фундаментальные истины. Потому что образ можно контролировать. Образ идеален, как математическая формула. Он не предаст, не обидит неосторожным словом, не напишет другому мужчине «он как ребенок». Образ всегда под рукой, он всегда отвечает взаимностью, он лишен недостатков, и его не нужно завоевывать. С живым человеком сложно. Живой человек — это хаос. Это непредсказуемость. Это усилие, компромисс, постоянная работа души. Живой человек имеет свои желания, которые могут не совпадать с твоими. Он может не любить тебя. И это его право. Принять это право, смириться с ним — вот что требует настоящей зрелости. А образ — он твой. Ты его творец и его единоличный владелец. Ты его пленник, но в этом плену ты чувствуешь себя в безопасности. Марк, сам того не сознавая, выбрал самый легкий и самый гибельный путь — полюбить вымысел, посадить его в клетку своих фантазий и поклоняться ему. А теперь он расплачивался за эту ошибку, стоя под ледяным ливнем, в то время как реальная Ева, живая, теплая, пахнущая своими духами и тем неопределимым цветочным ароматом, была в постели с реальным мужчиной по имени Андрей.

Он снова перевел взгляд на телефон. Экран запотел изнутри, и изображение стало мутным. Он открыл папку с фотографиями и начал листать их, одну за другой, словно перебирая четки. Вот Ева за завтраком на их импровизированной кухне, щурится от яркого утреннего солнца, льняная салфетка небрежно брошена на стол. Он помнил этот день: он встал на час раньше, чтобы приготовить ей омлет с травами, и был счастлив оттого, что она оценила его старания. Вот Ева в парке, читает книгу, нахмутив брови — она всегда хмурилась, когда погружалась в чтение, и эта маленькая морщинка между бровями казалась ему невероятно трогательной. Вот Ева смеется, запрокинув голову, и ее волосы развеваются на ветру. Он тогда рассказывал какую-то дурацкую историю из своего детства, и ему удалось ее рассмешить по-настоящему. Каждая фотография была свидетельством. Но свидетельством чего? Их общего счастья? Или его пытливого, собственнического, коллекционирующего взгляда, который жадно ловил моменты, стараясь удержать, зафиксировать, присвоить то, что никогда ему по-настоящему не принадлежало?

Он вдруг, с пугающей, ледящей душу ясностью, осознал то, чего не замечал раньше. На большинстве этих снимков она не смотрит в камеру. Она смотрит в сторону, в свой телефон, в книгу, на пробегающую мимо собаку, куда угодно, только не на него. Он был наблюдателем, летописцем, тенью, но не участником событий. Он ловил ее в объектив, как охотник ловит добычу, как папарацци ловит звезду, а она даже не замечала прицела. Она жила свою жизнь, а он — свою, параллельную, состоящую из наблюдений за ее жизнью. Они существовали в разных измерениях, и только он считал, что эти измерения соприкасаются. На одной фотографии, сделанной на дне рождения его друга, она стоит вполоборота и разговаривает с кем-то за кадром. В ее глазах — живой интерес. И он, Марк, вдруг с ужасающей отчетливостью понял, что этот взгляд, полный жизни и внимания, никогда не был направлен на него. По крайней мере, в последний год.

Их отношения с самого начала были историей его одержимости и ее... а что же было с ее стороны? Этот вопрос он боялся задавать себе все полтора года. Теперь он прозвучал с безжалостностью приговора. Благодарность? Да, пожалуй. Ей льстило его внимание. Льстило то, как на нее смотрит этот серьезный, красивый архитектор, готовый ради нее на все. Удобство? Безусловно. С ним было удобно. Он решал проблемы, он был стабилен, он не устраивал сцен и не требовал ничего взамен, кроме возможности быть рядом. Ева принимала его любовь, его заботу, его подарки и внимание с той спокойной, даже немного ленивой грацией, с какой красивые женщины принимают данность, как погоду за окном. Он был удобным. Тем, кто всегда выслушает ее жалобы на начальника, кто приедет посреди ночи, если ей станет грустно или одиноко, кто починит протекающий кран и купит нужные лекарства, когда она простудится. Он был функцией, а не человеком. Набором опций, заботливым роботом, идеальным бойфрендом из рекламного ролика. И эта функция была с восторгом им же и принята. Он сам себя назначил на эту роль и сам же ей наслаждался, думая, что рабским служением, самоотречением и бесконечным терпением можно заслужить, заработать, вымолить любовь.

Какая чудовищная, какая наивная глупость. Любовь не зарабатывают. Она не подчиняется законам рынка. Нельзя внести достаточное количество платежей в виде заботы и внимания, чтобы накопился cashback в виде ответного чувства. Она либо есть — вспыхнувшая в первую же секунду, как химическая реакция, — либо ее нет. И она никогда, никогда не появляется в результате торга, ультиматумов или демонстрации своих страданий. Он думал, что его любовь способна зажечь ответный огонь, но на самом деле он просто заливал Еву бензином своего обожания, не понимая, что у нее даже нет спичек. И то, что он принимал за ответное чувство, было лишь отблеском его собственного пламени в ее глазах.

Он вспомнил их первый поцелуй. Это случилось через месяц после той самой выставки. Они гуляли по набережной, был прохладный октябрьский вечер, и она куталась в его пиджак. Он набрался смелости, которую копил весь этот месяц, остановился, взял ее за плечи и притянул к себе. Она не сопротивлялась, но и не подалась навстречу. Их губы встретились, и Марк почувствовал вкус вишневой помады, такой искусственной и сладкой, и легкий холодок ее дыхания. Он был на седьмом небе от счастья. Земля ушла у него из-под ног. Он интерпретировал это как начало великой love story. Но сейчас, анализируя то воспоминание холодным, отстраненным умом архитектора, он понял то, что упустил тогда. Поцелуй был пресным. Вежливым. Техническим. В нем не было страсти, не было той искры, которая проскакивает между двумя людьми, когда они оба хотят одного и того же. Она просто позволила себя поцеловать. Просто была не против, чтобы этот приятный, заботливый мужчина прикоснулся к ее губам. А он, ослепленный собственным желанием, принял это «не против» за «да», за «навсегда», за «я люблю тебя до гроба». Его воображение снова дорисовало недостающие детали, превратив нейтральный жест в вулкан страсти, в симфонию чувств. Все его воспоминания, как старые фотографии, были отретушированы этой проклятой способностью выдавать желаемое за действительное. Он жил не в реальном мире, а в искусно смонтированном, склеенном из обрывков надежд фильме, где на главную роль он назначил Еву, а она об этом даже не подозревала. Он был режиссером, сценаристом, оператором и единственным зрителем этого фильма. А она просто жила свою жизнь.

Дождь усилился, превратившись из монотонной стены в яростный, бушующий поток. Крупные, тяжелые капли, словно пули, барабанили по жестяному козырьку подъезда, создавая оглушительный траурный марш. Марк чувствовал, как вода уже полностью пропитала его ботинки — дорогие итальянские ботинки ручной работы, которые теперь были безнадежно испорчены. Ноги онемели от холода, пальцы он перестал чувствовать уже давно. Одежда прилипла к телу, сковывая движения, и крупная, неконтролируемая дрожь сотрясала его с ног до головы. Где-то вдалеке, перекрывая шум ливня, завывала автомобильная сигнализация, и этот звук, резкий, пронзительный, полный тревоги, на секунду вывел его из оцепенения, вернул в реальность. Он посмотрел на свои руки. Пальцы посинели, ногти приобрели фиолетовый оттенок. Это было смешно и невероятно жалко. Романтический герой, умирающий от любви под окном возлюбленной. Этот образ, воспетый поэтами и бардами, на проверку оказался отвратительным. В реальности это выглядит не как красивая, возвышенная драма, а как сцена из учебника по психиатрии или сводка криминальных новостей.

Он представил себе эту картину со стороны. Немой фильм. Ночь, ливень, пустая улица и одинокая фигура, прикованная взглядом к темному окну. Жалкий, насквозь промокший человек, который не может ни уйти, ни постучать. Застывший в своем унижении, как насекомое в капле янтаря. Что было бы, если бы Ева сейчас выглянула в окно? Если бы она, мучимая жаждой или бессонницей, подошла к подоконнику и бросила случайный взгляд вниз? Что отразилось бы на ее лице в первую секунду, прежде чем она натянула бы маску вежливости? Страх? Брезгливость? Или, что хуже всего, — жалость? Жалость — вот чего он боялся больше всего на свете. Увидеть в ее прекрасных глазах, в которых он когда-то прочел всю нежность мира, не любовь, не ненависть, а холодное, снисходительное, чуть брезгливое сочувствие, смешанное с раздражением. «О, Господи, Марк, ты что тут делаешь? Ты совсем с катушек слетел? Ты хоть понимаешь, как это выглядит?» Нет, этого он бы не вынес. Это стало бы последней каплей, последним гвоздем, который добил бы его окончательно. Поэтому он стоял в тени, вжавшись в мокрую кирпичную кладку, стараясь быть незаметным, невидимым в своем позоре, сливаясь с грязью и дождем.

А что теперь? Куда ему идти, когда эта ночь закончится? В пустую, стерильно чистую квартиру, которая еще вчера была его убежищем? Теперь каждый ее угол, каждый предмет мебели, каждая книга на полке будет безжалостным напоминанием о Еве. О той Еве, которую он придумал. На журнальном столике стоит альбом по искусству, который она подарила ему на день рождения, предварительно попросив выбрать его вместе с ней. Она так и не прочитала в нем ни одной вступительной статьи. На кухне, на почетном месте, ее любимая кружка — нелепая, с нарисованным толстым рыжим котом и надписью «Я не толстый, я пушистый». Она пила из нее чай по вечерам, сидя на подоконнике и болтая ногой. Эта квартира, бывшая его крепостью, его холостяцкой берлогой, внезапно стала мавзолеем их несостоявшейся любви. Склепом, в котором он заживо похоронил свои мечты. И самое страшное, что ждет его там — это тишина. Глухая, ватная, абсолютная тишина пустого пространства. Тишина, в которой его мысли, лишённые внешних раздражителей, начнут с жадностью пожирать сами себя, перемалывая одни и те же факты, одни и те же слова из переписки, один и тот же темный силуэт в окне, пока не превратят его рассудок в кровавое месиво. Эта тишина была страшнее любого внешнего шума. Это будет пытка, которой он сам себя подвергнет.

Внезапно, на смену онемению и холоду, пришла боль. Острая, колющая, совершенно конкретная физическая боль в груди, будто кто-то медленно, с садистским наслаждением проворачивал нож в сердце. Не метафорический нож, а самый настоящий. Это было чувство настолько сильное и неожиданное, что он согнулся пополам, упираясь рукой в мокрый, скользкий кирпич. Казалось, еще немного, и его сердце просто не выдержит, разорвется от тоски и унижения. Все, что он читал о психосоматике, вдруг перестало быть теорией. Вот она, точка невозврата. Не просто психологический рубеж, а физический предел, за которым организм перестает справляться с эмоциональной нагрузкой. Момент, когда тело говорит: «Хватит. Я больше не вывожу эту боль. Ты разрушаешь меня». Он стоял, скрючившись, под проливным дождем, и чувствовал себя самым ничтожным существом на планете. Ему хотелось провалиться сквозь землю, раствориться в этом дожде, исчезнуть из этого мира, где существует Ева, Андрей и его, Марка, бесконечное, вывернутое наизнанку сердце.

Но через минуту он выпрямился. Сделал глубокий, судорожный вдох, впуская в легкие сырой, тяжелый воздух, пахнувший мокрым асфальтом, бензином и озоном. Вдох, который дался с огромным трудом. Нет. Он не уйдет. Не сейчас. Не так. Потому что на самом дне этого унижения, под толстым слоем грязи, отчаяния, жалости к себе и ледяного дождя, он нащупал что-то новое. Что-то твердое. Злость. Нет, не так. Ярость. Чистая, холодная, как антарктический лед, ярость. Она зарождалась где-то в районе солнечного сплетения — того самого места, где несколько минут назад завязался узел боли, — и медленно, уверенно растекалась по жилам, вытесняя холод и согревая лучше любого виски. Он злился не на Еву. Это было бы слишком просто и бессмысленно. Ева была такой, какой была, и имела полное право не любить его. Его злость, его священная, очищающая ярость была направлена на самого себя. На свою слепоту. На свою непроходимую наивность. На свою чудовищную, почти преступную способность придумывать людей, вместо того чтобы дать себе труд увидеть их реальными.

Он был архитектором. Черт возьми, он был архитектором, и неплохим! Всю свою сознательную жизнь он проектировал здания. Жилые дома, офисные центры, однажды даже часовню. Он знал о реальности все. Фундамент должен выдерживать нагрузку. Несущие стены не могут быть картонными. Перекрытия должны быть прочными. Материалы обязаны соответствовать расчетам. Он ненавидел бесполезный декор, лепнину и фальшивые колонны, ненавидел «архитектурные излишества». Для него форма всегда должна была следовать за функцией.

Это был его профессиональный принцип, его кредо. А в отношениях, в самой важной сфере жизни, он поступил как дилетант и глупец. Он построил не здание, а мираж. Воздушный замок на зыбком песке фантазий, украсил его барочными гирляндами своих иллюзий и удивлялся, почему эта конструкция рухнула от первого же порыва ветра реальности. Он спроектировал жизнь с несуществующей женщиной в несуществующем мире. Фундамент был из мечты, стены — из надежды, а крыша — из самообмана. Такая постройка была обречена с самого начала. И теперь его накрыло обломками этого рухнувшего замка.

Он снова поднял глаза на погасшее окно. Оно было черным и безжизненным, как экран выключенного телевизора. Там, в этой темноте, была реальная Ева. Женщина, которая имеет право не любить его. Женщина, которая, возможно, сейчас спит, положив голову на плечо Андрея, и видит сны, в которых нет места Марку. Эта мысль была невыносимой, она обжигала, как кислота. Но в ней была правда. А правда, какой бы горькой, уродливой и разрушительной она ни была, — это единственная твердая почва. Единственный материал, пригодный для строительства. Единственный фундамент, на котором можно возвести что-то новое, что-то настоящее. Его любовь была прекрасным, чарующим, но абсолютно лживым миражом, фата-морганой, заведшей его в пустыню одиночества. А правда была в том, что он, Марк, стоящий под дождем в три часа ночи, влюблен в фантом, в призрака, в плод собственного воображения. В женщину, которой никогда не существовало в природе. И пока он этого не примет, пока не прекратит проецировать свои фантазии, как слайды, на реальных людей, он обречен повторять эту ошибку снова и снова, разбивая сердце не о реальных женщин, а о пустоту.

Где заканчивается надежда и начинается безумие? Ответ пришел неожиданно, ясный, как архитектурный чертеж. Надежда заканчивается в тот момент, когда ты наконец-то осознаешь, что объект твоих возвышенных, всепоглощающих чувств — лишь порождение твоего ума, твоя собственная тень, отраженная в другом человеке. Это момент горького просветления. А безумие — это когда ты, даже получив это знание, даже поняв всю иллюзорность своего чувства, все равно отказываешься его отпустить. Когда ты сознательно выбираешь сладкую ложь вместо горькой правды. Марк стоял ровно на этой границе, на лезвии бритвы. Одна нога на твердой, хоть и обледенелой, земле горького осознания, вторая — над пропастью одержимости, из которой можно уже никогда не выбраться. Он чувствовал, как ветер реальности толкает его в спину к краю, а цепкие лапы иллюзий тянут обратно, в уютное и гибельное болото. И он понятия не имел, куда шагнет. Решение еще не было принято.

Он разжал замерзшие, непослушные пальцы, и телефон, его персональный ящик Пандоры, наполненный скриншотами, фотографиями, заметками и голосовыми сообщениями, с глухим, окончательным стуком упал на мокрый асфальт. Раздался хруст — это треснул экран. Телефон упал в лужу, и экран в последний раз вспыхнул, показав заставку с ее смеющимся лицом, а затем погас навсегда. Теперь это был просто кусок бесполезного пластика, металла и стекла, мертвый девайс, раздавленный дождем и отчаянием. Вода заливала его, проникала внутрь, к микрочипам и контактам, убивая все, что было на нем сохранено. Тысячи сообщений, сотни снимков — вся его цифровая летопись одержимости уходила в небытие. Марк смотрел на это отстраненно, не пытаясь поднять. Пусть. Так надо. Так правильно. Это маленькое, символическое самоубийство его старой жизни.

Он стоял и смотрел на погасшее окно еще долго. Дождь начал стихать, переходя из яростного ливня в мелкую, почти невесомую морось, похожую на водяную пыль. Где-то на востоке, над крышами спящих домов, ночная тьма начала неохотно сереть, разбавляясь первыми, робкими проблесками рассвета. Город, отмытый дочиста, начинал медленно просыпаться. Про-

ехала первая машина — старенький фургон с надписью «Хлеб», — разбрызгивая лужи и нарушая первозданную тишину. Где-то в соседнем дворе залаяла собака. Хлопнула дверь подъезда, и послышались тяжелые шаги — кто-то шел на работу. Мир возвращался к жизни, абсолютно равнодушный к драме, разыгравшейся на этом кусочке тротуара.

Марк оттолкнулся от стены, к которой, казалось, прирос за эти часы. Тело задеревенело и слушалось с огромным трудом, каждое движение отдавалось болью в застывших суставах. Он развернулся и, не оглядываясь, медленно, как сломанный механизм, пошел прочь. Он не знал, вернется ли сюда завтра. Он не знал, сможет ли пережить этот рассвет и что принесет ему следующий день. Но в одном он был уверен твердо: та, прежняя жизнь, построенная на иллюзиях, сотканная из миражей и самообмана, закончилась в ту самую секунду, когда погас свет в ее окне. Точка невозврата была пройдена. Мосты сожжены. А что ждало впереди — новая надежда или окончательное безумие, — этого он пока не знал. И от этого незнания было почему-то немного легче. Впервые за долгое время он не строил иллюзий о будущем. Он просто шел в пустоту, и это была самая честная прогулка в его жизни.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.